

Василий Верещагин

Литератор



Василий Верещагин

Литератор

«Public Domain»

1894

Верещагин В. В.

Литератор / В. В. Верещагин — «Public Domain», 1894

«В Кирилловском, попросту Кирилловке, сегодня суета: молодой барин уезжает на войну. Господи, как время-то идет! Володя, – тот самый Володя, которого дворня, все, что постарше, бывшие крепостные, нянчила, видела младенцем, мальчиком, подростком, – звенит теперь шпорами, заглядывается на девок в крестьянском хороводе, крутит молодой ус и вот хочет помериться с врагом на Дунае. Юный офицер, еще не совсем оправившись от тяжелой болезни, перенесенной в отпуску, настоял на немедленном отъезде в армию, так как ему совестно было благодушествовать в деревне в то время, как почти все товарищи дрались с турками...»

© Верещагин В. В., 1894

© Public Domain, 1894

Содержание

I	5
II	12
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Василий Верещагин

Литератор

I

В Кирилловском, попросту Кирилловке, сегодня суeta: молодой барин уезжает на войну. Господи, как время-то идет! Володя, – тот самый Володя, которого дворня, все, что постарше, бывшие крепостные, нянчила, видела младенцем, мальчиком, подростком, – звенит теперь шпорами, заглядывается на девок в крестьянском хороводе, крутит молодой ус и вот хочет помериться с врагом на Дунае¹. Юный офицер, еще не совсем оправившись от тяжелой болезни, перенесенной в отпуску, настоял на немедленном отъезде в армию, так как ему совестно было благодушествовать в деревне в то время, как почти все товарищи дрались с турками.

Отъезд назначен на сегодня, и проводы, а с ними и хлопоты в самом разгаре: стряпают, пекут и жарят с раннего утра. Как ни отказывался Владимир, как ни уверял мать, что он все достанет дороною, потому что до города и железнодорожной станции недалеко, Анна Павловна решила, что он возьмет с собой всего, благо все, наверное, пригодится.

– Право, я весь пропитаюсь маслом и начинками, – шутя жаловался он матери.

– Что ж, пропитайся, зато не испортишь себе желудка, да и товарища будешь продовольствовать.

– Ну, уж товарищ-то так невзыскателен в еде, что может глотать решительно все.

Атмосфера большого Кирилловского двора была до того полна запахами пирогов, печений и жареной дичины, что друзья дома, дворняжки Жучка, Катайка и сам лягавый Бокс не отходили от кухонного крыльца.

Кучера на конюшенной «галдарее» справляли тарантас, и Поликарп, готовившийся ехать с молодым барином, кажется, успел уже «налить глаза», как выражался о его слабости барин-отец: изготовляя экипаж и лошадей, он все разговаривал не только с животинами, но и оглоблями и постромками², браня их за оказавшиеся неисправности. Это последнее поползновение одушевлять неодушевленные вещи своего обихода и объяснять им вред неисправности и неготовности к службе было всегда верным признаком расстроенного состояния кучера и выдавало его слабость; в прежнее, крепостное время оно доводило его до экзекуции «на конюшне», а теперь, после смягчения нравов эмансипациею³, до угроз быть прогнанным. Последняя мера бывала, впрочем, приводима в исполнение, но Поликарп обыкновенно, после недолгого отсутствия, снова возвращался на старое пепелище, наивно объясняя, что «в чужих людях» ему не живется.

Больше и едва ли не глубже всех была огорчена предстоящим отъездом старая-престарая няня Марфа, начавшая плакать с самой той поры Володиного отпуски, когда была отправлена просьба о переводе в действующую армию; со времени же назначения его ординарцем к важному лицу она буквально не осушала глаз. Назначение это устроил граф А., бывший корпусной товарищ Володиного отца, всегдашний покровитель семьи. Теперь няня в хлопотах увертывания, увязывания и укладывания – чего-чего только она ни втиснула бы, если б ее не останавливали! – морщилась и крепилась, но временами «силушки» ее не хватало – нет-нет,

¹ ...с врагом на Дунае... – В начале русско-турецкой войны 1877–1878 гг. линия фронта проходила по р. Дунай.

² ...разговаривал не только с животинами, но и оглоблями и постромками... – Реминисценция из «Мертвых душ» Н. В. Гоголя (гл. III).

³ ...смягчение нравов эмансипациею... т. е. отменой крепостного права.

она всхлипывала, а за дверями даже и подвывала. Шутка ли? Ее «дите», как по старой памяти она называла своего любимца, несмотря на то, что ему уже шел двадцать четвертый год, уедет на войну, под пули, на смерть! Слыханно ли идти на такое дело, еще не оправившись толком от болезни? «Не снести ему, пожалуй, головушки, – ой, напророчу я, чего доброго, старая дура! Господи, сохрани и помилуй его! – шептала она беспрерывно, почти бессознательно. – Что холоду и голоду натерпится; кто там присмотрит за ним, прислужит, походит в болезни? Заступница усердная, мать господа всевышнего, защити робенка, покрой его святым твоим покровом!.. Не видать мне тебя, роженный мой, не дожить уж до этого!» – шевелили ее дрожащие губы и говорили слезливые глаза, когда, выбрав минутку, входила она в двери гостиной: сложивши на желудке руки и понуриив голову, она следила за разговором и за всеми движениями Володи, вглядываясь без конца в знакомые дорогие черты.

В ожидании невеселой минуты расставания семья сидела вместе: мать беседовала с сыном, тихо разглаживая его волосы; около них ютились другие двое детей, занимавшихся своими разговорами. Отец ходил из угла в угол, изредка вставлял свои замечания и нервно ощипывал сухие листья цветов или, усиленно мигая, смотрел через балкон на наволоку⁴ и реку, барабанив пальцами по стеклу.

Иногда мамаша выходила как будто для распоряжений, но, вернее, для того, чтобы на свободе поохать и всплакнуть, так как возвращалась с еще более красными глазами.

Двое младших братьев – девочек в семье не было – один – гимназист 3-го класса, другой – подросток, вели речь и о войне, и об осмотренном ими оружии брата, отточенной сабле и двух револьверах. За отсутствием гувернера-немца, отлучившегося в город, они были на свободе и с утра уже освидетельствовали лошадей и экипаж, а младший не раз садился на козлы, воображая себя едущим вместе с Володей на войну. Теперь они глядели в окна и наблюдали за дорогой, по которой должен был приехать священник.

– Отец Василий едет! – первый провозгласил мальчуган. И точно, отворили ворота и в них въехал в таратайке священник с дьячком из большого соседнего села – в Кирилловке не было церкви, а только часовня.

Батюшка вошел в зал, расправляя свои длинные волосы, и все присутствовавшие пошли ему навстречу под благословение.

– Будьте здоровы, – повторял отец Василий, раздавая кресты. – А воин наш в каком расположении духа изволят находиться?

– Молодцом! – ответил отец. – Еще бы, даст бог, скоро вернется и порасскажет немало интересного нам, старикам. Что в городе новенького, отец Василий; вы недавно оттуда? Какие слухи?

– Слухи все одни, Василий Егорович: не сдается да не сдается; опять, говорят, штурмовать будут – от последнего курьера, говорят, слышали...

– Ну, нет, довольно и двух раз, пора за ум взяться!

– Отчего же, папа? Центр тяжести войны перенесен теперь туда, войска стянуто много – я уверен, что возьмут. Чего же еще ждать? Надобно разбивать этот глиняный горшок...

– Ах, друг ты мой любезный, не можешь ты быть уверен, когда имеешь дело с правильно построенными земляными укреплениями; что за день мы разобьем, то в ночь они починят! А тут еще такая природная позиция. Помнишь, что рассказывал раненый генерал Т.? Мы, видимо, ошиблись: у них есть и генералы, и офицеры, и вооружены их солдаты хорошо.

– Да, Османа⁵ недаром зовут кротом, он и в Сербии...

– Ну, вот и тут он ведет себя, как крот, и против него надо действовать кротовыми же мерами...

⁴ ...наволока... – пойменный луг, низменный берег.

⁵ Осман Нури-паша (1832–1900) – турецкий маршал, во время войны 1877–1878 гг. командовал войсками в Плевне.

– Ах, ведь забыл сказать! – с живостью перебил отец Василий, обращаясь к Анне Павловне. – Вера Андреевна Бегичева кланяются вам; они получили письмо от сына: пишут, что они теперь на самом театре войны, находятся в отряде генерала Скобелева.

– Bravo, Петя, – весело воскликнул офицер, – молодец! «Я рад за него; если это только правда», – подумал он про себя, так как знал за своим приятелем Петей слабость прихвастнуть.

– И сами они рады: храбрости, говорят, генерал Скобелев⁶ необычайной, но и опасно около них: сами никакого страха не знают, и другие не прячась. Генерал Гурко⁷, говорят, разумнее; они так не рискуют...

– Ну, волков бояться – в лес не ходить.

– Это, конечно, так, – продолжал отец Василий, – но уж, кажется, очень они собой дорожат. Как Петр Николаевич описывают, так даже и турки этого генерала отличают от других, «белым пашою» называют. Пишут, такие поручения задавал им, – насилу, говорят, живой вышел...

– Господи! – громко вздохнула Анна Павловна при мысли о том, что и ее Володе тоже будут давать поручения, из которых он насилу будет выходить живым, да и выйдет ли? Сын понял ее мысли и поспешил успокоить:

– Не бойтесь, мама, за меня... в штабе не так ведь опасно.

– Дай бог, дай бог, друг мой!

– Читали мне Вера Андреевна из письма, что раз посылали их пленного достать, – я, говорят, не достал, где ж его достать? – так недовольны, говорят, были: плохо, говорят, батенька, вы поворачиваетесь. Пишут, что получили уже солдатский Георгиевский крест и в офицеры хотели их представить. В военной, говорят, много легче, чем в штатской, – проще служба... Были, говорят, больны, теперь поправились.

– Какой ужас, какой ужас! – шептала Анна Павловна, отвечая на ту же внутреннюю мысль о Володе, представлявшемся ей то больным, то убитым, то захваченным в плен и увезенным куда-то далеко.

Должно быть, те же мысли мелькали и у детей, с раскрытыми ртами смотревших то на отца Василия, то на старшего брата: вот-вот, как он приедет на войну, так сейчас же его пошлют добывать пленных, а то и самого возьмут в плен, да еще ранят и он заболит, похудеет, приедет к ним умирающим или без ноги, без руки...

Младший Алеша решил, что пленный должен быть непременно со связанными руками, как тот недавно пойманный в конокрадстве мужик, приведенный к ним на двор, которого папаша допрашивал и потом отослал в город. Что касается турок, то они должны быть – ни дать ни взять – как те страшные, всклокоченные крестьяне, что, проезжая прошлую весной мимо Кирилловки, затеяли ссору с дворовыми людьми из-за Жучки, укусившей одну из их лошадей.

Мальчуган так задумался над турками, что и не заметил, как все кругом него стали выходить в зал, к напутственному молебну.

Засветили свечи перед старым потемневшим образом Спасителя, за рамкою которого всегда были воткнуты колосья двойнички и тройнички; запахло ладоном от усердно раздутого дьячком кадила; волны дыма заходили по комнате, переливаясь во врывающихся лучах солнца: день был теплый, ясный, праздничный.

– Благословен бог наш, – начал отец Василий, выправляя волосы из-под ризы, обтягивая ее и дергая при этом плечами и локтями.

⁶ ...генерал Скобелев – Михаил Дмитриевич Скобелев (1843–1882), генерал от инфантерии, участник Хивинского похода (1873), подавления Кокандского восстания (1873–1876), Ахал-текинской экспедиции (1880–1881). Командовал отрядом под Плевной, дивизией в сражении под Шипкой – Шейново. Близкий знакомый В. В. Верещагина.

⁷ Генерал Гурко – Иосиф Владимирович Гурко (1828–1901), во время войны 1877–1878 гг. во главе передового отряда совершил поход в Забалканье, командовал отрядом гвардии под Плевной, с 1894 г. – генерал-фельдмаршал.

Голос отца Василия был несколько гнусливее и значительно торжественнее того, которым он только что передавал новости. Дьячок подпевал ему негромко и немного тоскливо, с перевздохами, настойчиво упирая взгляд в косяк окна, что, по давно установленному замечанию, означало «выпитую с утра».

Теперь, благо был уважительный предлог, Анна Павловна больше не сдерживалась: она буквально смочила своими слезами пол во время непрерывных припаданий к нему головою и не вставала с колен за весь молебен.

Даже отец, всегда державшийся в глазах семьи твердым и невозмутимым, сначала только усиленно крестился своим большим крестом и кланялся в землю, касаясь пола концами пальцев, потом не вытерпел и несколько раз утер глаза, отведенные для приличия в сторону.

Няня заливалась-плакала, перемежая рыдания большими же, очень большими, начинавшимися на маковке головы и спускавшимся почти до колен, крестами; ее поклоны представляли настоящее бросание всего тела на землю, и она проделывала их с замечательными для ее семидесятипятилетнего возраста ловкостью и живостью.

Прислуга, дворовые и некоторые крестьянские женщины, нашивавшие на руках теперешнего воина, тоже всхлипывали и усердно сморкались в подолы в задних углах залы и прихожей.

– О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их господу помолимся! – слышался ровный голос отца Василия.

– Господи, помилуй! Господи, заступи и помилуй нас! Царица небесная матушка! Заступница наша! – слышалось со всех концов залы, наполненной клубами ладана.

Подход ко кресту послужил некоторым облегчением для всего общества.

Глаза еще не успели высохнуть от слез, как послышался вдали звон колокольчика. Дети, а за ними и большие вышли на балкон.

Кто бы это мог быть? Кажется, Надежда Ивановна?

В деревне отворился отвод, ведущий с поля, и тройка карих проскакала мимо крестьянских изб, въехала на мостик и внеслась затем на гору.

– Она! Надежда Ивановна! Наташа! – вскрикнуло разом несколько голосов. Владимир сбежал с балкона и бросился к крыльцу так стремительно, что отец с матерью переглянулись. Он торопился встретить если не видимо усталую, полную, добродушно улыбающуюся Надежду Ивановну, то ее хорошенькую племянницу Наталочку, очень красивую девушку, свежо и весело смотревшую из-под загара и пыли.

Взгляд петербуржца Владимира невольно остановился на патристической, но немного провинциальной форме головного убора девушки, на чем-то вроде высокой мужицкой шапки, перевитой кисеей и лентами; но так как «девушке в девятнадцать лет и эта шапка приставала»⁸, он быстро перевел глаза на милое личико приятеля своего детства, своей «кузиночки», как он называл ее, помог ей выпрыгнуть из экипажа и провел в дом.

– Хорошо, хорошо, – дружески пеняла Надежда Ивановна, – до того занялся племянницей, что тетушка сама выбирайся!..

Это было не совсем справедливо, так как слуга уже помогал ей спуститься с подножки.

– Ну, друзья мои, – заговорила она, войдя в комнаты и обращаясь к хозяевам, – не взыщите с меня за откровенность: не поехала бы по такой жаре, если бы не баловница моя. Шутка ли, ехать провожать за 60 верст по такому пеклу; но ведь что вы с ней станете делать, не дала мне покоя, пока я не согласилась; чуть не плачет, уговаривает: поедем да поедем. Вот она сама тут, слышит, выдаю ее вам головою... Владимир Васильевич, пожурите ее перед отъездом.

– Непременно, непременно, сейчас же намылю ей голову! – отозвался Владимир уже с балкона, куда вышел вслед за «баловницей».

⁸ ...девушке в девятнадцать лет и эта шапка приставала – перефраз пушкинской строки из «Руслана и Людмилы» («А девушке в семнадцать лет какая шапка не пристанет».)

– После, после наговоритесь, пока сядем за стол!

За поцелуями, розданными Надеждою Ивановной детям, и за упреком отцу Василию в том, что, объезжая паству своего благочиния и побывавши у их отца Степана, не заглянул к ним в дом, все разместились в зале за большим накрытым столом.

Приезжая объявила, что на такой жаре кушать она ничего не будет, но берет на себя наблюдать, чтобы кушали другие, особенно отъезжающий, и, оглянув свою племянницу, сидевшую против нее рядом с Владимиром, заставила отца Василия повторить рассказы Пети Бегичева о Скобелеве и слухи о вероятности нового штурма.

Ее «баловница» даже побледнела немножко, выслушав догадки о предполагающейся битве, в которой другу ее, Володе, придется, конечно, участвовать.

– Смотрите же, Владимир Васильевич, – сказала она быстро и серьезно, – уговор дороже денег: если с вами... (маленькая пауза) что-нибудь случится... (пауза побольше), напишите, телеграфируйте, и мы с тетей сейчас же приедем к вам... Так ведь, тетя?

– Хорошо, хорошо, после увидим; ты, кажется, думаешь, что без нас с тобой там не обойдутся.

– Нет, нет, тетя, вы мне обещали, вы обещали: мы пойдем тогда в сестры милосердия – нельзя отказываться от своих слов.

– Хорошо, хорошо, душа моя, я ведь и не говорю: нет; надеюсь только, что надобности в нас с тобой не будет.

– Дайте слово, Владимир, – сказала девушка, протягивая руку, – что вы откровенно известите нас, если ...заболеете?

– Даю честное слово! Но вы должны обещать мне с своей стороны не выезжать раньше, чем я позову вас. Дело сестры милосердия ведь трудное и требует серьезной подготовки; для этого месяцами работают в госпиталях, готовятся, а без приготовления вы рискуете не принести никакой пользы, только сами заболеете – что в этом было бы хорошего?

– Это правда, болезни быстро развиваются между труженицами святого дела, и гибнут многие из них, особенно молодые, неопытные, – вставил отец Василий.

– В Крымскую кампанию⁹, в госпиталях... – начал было хозяин, но Наташа, не дав ему кончить, перебила:

– Нет, нет, нет, я не отдам тете обратно ее слова: если война протянется долго или если, не дай бог... мы приедем. Вы обещали, тетя, вы обещали! – обратилась она со слезами на глазах к тетке, понявшей, что противоречить долее небезопасно, и тотчас же решившейся торжественно подтвердить свое обещание. Василий Егорович взят был в посредники для выбора момента отъезда к армии будущих сестер милосердия.

Мать Владимира, видимо, страдавшая все тою же болью предстоявшей разлуки с сыном, чтобы переменить тяжелый разговор о войне, начала расспрашивать Надежду Ивановну о соседях, но разговор плохо вязался, так как всем было не по себе; очевидно, над всем и всеми тяготел издали дурной поворот кампании, а вблизи кошмар предстоявшего отъезда молодого человека.

Подъехала еще соседка с мужем и двумя дочерьми-невестами, и разговор снова перешел к войне. Попреки начальствующим за их действительные и предполагаемые ошибки, решения и догадки, очень убедительные и *argès coup*¹⁰, конечно, справедливые о том, что надобно было и чего не следовало делать, хотя и прежде высказывались несколько раз, снова убежденно и не без жара повторялись, иногда с обоюдными уступками, а когда и с маленькою нетерпимостью.

Отец Василий в третий раз должен был повторить известия с театра войны, чем он был, по-видимому, недоволен.

⁹ Крымская кампания – война 1853–1856 гг., закончившаяся поражением России и Парижским миром 1856 г.

¹⁰ Здесь: после всего (*фр.*).

– Вы одни едете, Владимир Васильевич?

– Один до Москвы, где меня дожидается известный Верховцев.

– Какой такой известный Верховцев?

– Неужели вы не знаете Верховцева? – вмешалась Наталочка и немножко покраснела, что не укрылось ни от Владимира, ни от приехавших подруг, – известный писатель, тот самый, что жил прошлое лето у Евграфа Алексеевича и, помните, еще упал, танцуя с Сонечкой!

Все засмеялись, а присутствовавшая Соня покраснелась.

– Как не помнить, – ответил сосед, – его называли «букою»; признаюсь, только я думал, что речь идет о каком-нибудь военном. Что же он-то там будет делать? Там ведь не танцуют!

Опять все рассмеялись.

Владимир объяснил, что его приятель, – к которому, к слову сказать, он почувствовал маленькое охлаждение с того момента, как заметил румянец девушки и живость ее воспоминания о нем, – приятель его решил видеть войну как можно ближе, собственными глазами, для чего принял обязанность корреспондента в газету *Век*, всегда отличавшуюся свежестью и полнотою новостей.

– Его посылают на хороших денежных условиях, но, признаюсь, на его месте, с его талантом и известностью, – и он взглянул на девушку, – я потребовал бы более...

– Что-то уж такой громкой известности мы не знаем за ним, – заметил сосед.

– Как можно, его последний роман имеет большой успех. А повести его! Путешествия!.. Он очень, очень талантлив, и большая часть того, что он написал, переведена за границей.

– Прочитал и я пару повестушек его, помнится, но не в восторге от них. Ничего в них нет эдакого возвышенного... все обыкновенно, серо, точно выметенный сор... Впрочем, может быть, мы ведь здесь зарылись, всего-то и не знаем, что у вас в Петербурге делается, пишется и что ценится...

– Тетя, почему бы и нам не писать в какую-нибудь газету? – заявила Наташа.

Все дружно засмеялись.

– Нет, ты не понимаешь, тетя, это когда мы будем там...

– Хорошо, хорошо, и ухаживать за ранеными будем, и писать будем. Вы знаете, что «моя» собирается и меня за собою тащить в сестры милосердия, – осведомила Надежда Ивановна приезжих.

Барышни стали расспрашивать Наташу, почему и для чего, а мальчуган, братишка Володи, прямо высказал свое мнение, что Наташа еще и не сумеет написать, так как живо представил себе всю трудность писания в книгах и особенно в тех больших газетах, которые ежедневно методично папашею его развертывались и от доски до доски прочитывались.

Среди разговоров хозяева переглянулись, а отец выговорил: «Однако пора». Поднялся с места и пригласил всех в гостиную «присесть».

– Присядемте, присядемте, – по возможности равнодушно приглашал он, и все молча уселись, стараясь не глядеть на удрученную мать. Двери притворили.

Василий Егорович встал, осенил себя тем же знакомым Володе большим крестом и грузно опустился на колени; то же сделали все присутствовавшие.

Няня, не ожидавшая такого скорого наступления последнего акта расставанья, не вовремя вошла; она сама смутилась того, что сделала, и немножко смутила других – все стояли на коленях, все плакали, даже у воина текли слезы.

Опять отец первый поднялся, отер глаза и обнял сына.

– Ну, брат, будь же здоров! Прощай, лихом нас не поминай! – сострил он, но шутка замерла на губах и не нашла отклика.

Пошли поцелуи: мамашины без конца, с горячими слезами; поцелуи справа, поцелуи слева, поцелуи даже расплакавшейся Наташи и какие-то засасывающие поцелуи старушки няни.

– Прощай, наш батюшка! Прощай, сокол наш ясный! Кормилец ты наш! – повторяли люди, порываясь целовать отъезжающего в губы, щеку, руку, плечо, спину.

Все вышли на крыльцо.

– Володя, Володя, меня-то поцелуй! – лез под колеса разревевшийся братишка, которого стоило труда оторвать и оттащить.

Володе показалось, что только теперь он оценил прелесть всего окружающего; даже при первом отъезде в корпус, как ни было жутко, не чувствовалось впечатления того, что все от него точно отрывается, безвозвратно уходит, – впечатления, которое охватило его теперь: уж не предчувствие ли?

«Ворочусь ли, полно, увижу ли все опять?» – и он махал платком, поворачаясь в экипаже и не отрывая глаз от фигуры матери, поддерживаемой под обе руки у порога крыльца, – махал, пока тарантас не скрылся за отводом деревни, окруженным мужиками, бабами и ребятишками, всем миром, высыпавшим на дорогу с пожеланиями здоровья и всякого добра отъезжающему воину.

– Прощай, сокол, дай бог тебе! За нас стараешься! – выкрикивали ему с поклонами.

Потом он вглядывался еще в далекие разноцветные точки дорогих фигур, проезжая полем, и только миновавши ручей и въехавши в лес, потерял из глаз красную крышу и всех обитателей своего милого, дорогого гнезда.

На душе Владимира стало легче, и будущее представилось более светлым.

II

За Дунаем, в городе Систове, шла по улице пожилая, довольно полная дама рядом с красивой цветущей девушкой; они пробирались домой, в одну из глухих улиц, таща в узелке платка несколько окулней, купленных на базаре.

За суетою и шумом улицы, где поминутно нужно было давать дорогу встреченным конным и пешим, обходить стоящих, беседующих, жестикулирующих, нельзя было расслышать, о чем шел у них разговор: кажется, о письме, только что полученном через коменданта, из-под Плевны. На углу молодая обратилась к другой:

– Почему же он сам не приедет, когда знает, что мы здесь? Так, право, хотелось бы его видеть! Тетя, милая, зайдемте в ресторан, может быть, опять что-нибудь услышим.

– Нет, душа моя, пойдем скорее пообедаем, да и назад. Ты слышала, что Федор Иванович просил сегодня же обойти всех вновь прибывших.

Это были Надежда Ивановна с Наталочкой, после отъезда Володи начавшей систематически мучить тетку просьбами о скорейшем отъезде.

Слухи о вероятности нового штурма плевненских укреплений¹¹, приготовления медицинского персонала и известие о приезде новой партии сестер милосердия лишили девушку сна и пищи. Она похудела, осунулась, и тетка, сначала отделявшаяся своими обычными «хорошо, хорошо, вот увидим», – решилась, наконец, обратиться к обещанному посредничеству Василья Егоровича.

Тот посоветовал подождать и не приносить пока ненужной жертвы. Но Наталочка не сдалась и скоро открыла себе поддержку в молчании Анны Павловны, тоже жалевшей молодую девушку, но еще более горевавшей о своем Володе, который, как она втайне думала, был бы все-таки в меньшей опасности близ добрых знакомых.

Она не выговорила этого, но Наташа поняла ее мысль – поняла, что она скорее за отъезд, и решительно пристала:

– Ведь да? Ведь да? Ведь вы советуете ехать?

Слезы подступили к горлу матери, и она нашла в себе силы только ответить, что не решается ни советовать, ни отсоветовать – пусть будет, как богу угодно.

После нескольких предлогов, новых и старых, но еще раз выдвинутых вперед, тетка увезла свою «баловницу» домой, еще более расстроившись и почти решившись на отъезд, – она по-всегдашнему заключила, что, «должно быть, так угодно богу: ведь и волос не спадет с головы нашей без воли его».

Они заехали еще раз к Половцевым, уже на пути к месту военных действий, и приняли несколько посылочек для Володи, между которыми его любимое варенье занимало не последнее место.

Как ни скрывала Анна Павловна свои чувства, видно было, что она рада отъезду добрых соседей и дальних родственников в те места, где, окруженный всевозможными опасностями, находился ее Володя; какая-то уверенность явилась у нее теперь в том, что он воротится к ней в целостности и сохранности.

Между нею и Наташей за это последнее свидание установилось нежное чувство доверия и интимности, которое, как они обе понимали, должно было не только остаться навсегда, но и скрепиться вскоре более близкими родственными отношениями.

Когда расплакавшаяся Наташа, перед тем чтобы сесть в экипаж, приняв все нежные поручения к сыну, в последний раз обнялась с Анною Павловной, их принуждены были просто

¹¹ ...новый штурм плевненских укреплений... – Плевна штурмовалась четырежды. Третий штурм проходил 30 августа 1877 г., в день именин Александра II.

разнять: и сами они, и Надежда Ивановна, и Василий Егорович понимали, что прощаются не только добрые соседки, но и будущие мать с дочерью.

* * *

Отец Наташи, Ган, перед смертью живший в своей усадьбе Ярославской губернии, раньше служил товарищем председателя окружного суда в Казани, но принужден был выйти в отставку по довольно странному обстоятельству.

Всем было известно, что он не только не принимал подарков, но и не занимал денег у заинтересованных в суде лиц, – кто не знает, что эта последняя мера увеличивать свои доходы заменила прежнее принятие пачек и пакетов с ассигнациями? Но случилось раз, что он изменил решение суда после объявления приговора, – изменил не смысл, а букву, чуть не грамматическую ошибку, – все-таки самый факт перемены в тексте послужил достаточным предлогом для враждовавшего с ним прокурора возбудить уголовное дело, кончившееся отставкою Наташиного отца.

Случай этот наделал столько шума, поднял столько официального негодования, что не помогло вмешательство влиятельных лиц, благодаря которому удалось только прикрыть отставку пенсией.

Ган уехал с семьей в имение, стал хозяйничать, но, в конце концов, не смог вынести такого тяжелого, неожиданного удара и вскоре умер. Через несколько месяцев после него умерла и жена его, поручивши обеих дочерей Надежде Ивановне, сестре покойного.

Старшую дочь Машу удалось пристроить в одном из петербургских институтов, а младшую, Наташу, или, как Надежда Ивановна зазывала ее по-малороссийски, Наталку, тетушка взяла к себе, привязавшись к ней, как к родной дочери, и перенесла на нее всю свою нежность, преданность и любовь к покойному Гану.

Своих детей Надежда Ивановна Глиноедская, малороссиянка по происхождению, не имела. Ее муж умер лет десять тому назад; всегда будучи деликатного здоровья, он заболел, наконец, горловою чахоткой и, не вынеся страданий, застрелился.

В свое время он был очень хороший хозяин, завел в имении порядки, выстроил удобный, поместительный дом и даже сумел отложить немного денег, незаметно ушедших, впрочем, потом во время его болезни. Надежда Ивановна, не будучи никогда влюблена в него, покорно переносила крутой подчас нрав и болезненную раздражительность супруга из-за его ласки, предупредительной внимательности и доставляемых ей удобств.

Смерть мужа огорчила ее, но характера покладистого и снисходительного не испортила; ее тихая, почти безвыездная жизнь мало изменилась, а несколько романтическая натура расположилась только больше прежнего к набожности, меланхолии и ...к морфию: в большом перстне на ее руке, памяти мужа, всегда хранился небольшой запас морфия, к которому она иногда, тайком, конечно, ото всех, прибегала.

Старшая племянница редко бывала в деревне, так как ее охотно взяла на свое попечение другая тетка, двоюродная; у нее в Петергофе она провела целое прошлое лето, изредка переписываясь с деревенскими сестрою и тетею. Младшей, как любимице, Надежда Ивановна назначила свое имение с усадьбою, что, вместе с половиною отцовского наследства, составило Наталочке хорошее приданое и при ее красоте сделало из нее завидную невесту.

Еще при жизни отца и матери девушка отличалась от сестры не только более живым, впечатлительным характером, но и какою-то решительностью, инициативою. Высокого роста, красивая, всегда краснощекая, здоровая, она сразу располагала к себе и вызывала доверие.

Начитавшись «хороших книжек», Наталка тотчас же решила применить к делу то, что нашлось в вычитанном практичного: стала учить грамоте крестьянских детей, помогала беднейшим семьям деревни, чем могла, между прочим, и лекарствами, составленными по меди-

цинскому ежегоднику, с одобрения тетки; кажется, не было случая, чтоб она грубо ошиблась и принесла вред, так что в деревне ей серьезно доверяли и не шутя советовались с девушкой в трудных обстоятельствах.

Володю Половцева Наташа знала с самых юных лет; их связывали воспоминания игр и ссор и даже совместного житья в продолжение некоторого времени, так как после смерти Гана не на шутку заболевшая тетя сама попросила Половцевых взять к себе девочку и присмотреть за нею. После Наташа встречалась с молодым человеком, сначала кадетом, потом офицером, по несколько раз в год, и он, приезжая в отпуск, бывал у Надежды Ивановны, да и тетка с племянницей наезжали гостить в Кирилловку, так как были большими друзьями Володиной матери. Родители Половцева и Глиноедская с удовольствием видели сближение молодой пары и радовались ему; один бог знает, что было переговорено, перешептано между приятельницами по этому поводу.

Для Наташи не существовало пока молодых людей, кроме Володи Половцева. Немало было за ней ухаживателей между молодежью уезда, изредка наезжавшею к Глиноедской и в свою очередь зазывавшею и ее в гости, но Наталка прямо, откровенно, без всякой задней мысли говорила, что Володя нравится ей больше всех.

Не будучи ни особенно богатым, ни выдающимся красавцем, молодой Половцев был, что называется, во всех отношениях молодцом и притом добрым малым; танцевал же он, особенно с появлением шпор на ногах, так, что на него заглядывались не только в деревне, но и в Петербурге.

По этой последней части, впрочем, Наталка была ему совсем уж не пара, потому что умышленно забросила танцы со времени чтения «хороших книжек»; из-за них же она оставила и музыку. Как ни уговаривала тетка, как ни пеняли Половцевы, Наташа упрямо отстаивала свое решение, называя все эти светские развлечения пустой тратой времени, и высказывала еще разные мысли, новые для окружавшей ее среды и не вязавшиеся со взглядом на жизнь и ее назначение ни стариков Половцевых, ни Глиноедской.

Надежда Ивановна знала, впрочем, виновника маленькой путаницы в понятиях своей племянницы: это был тот самый Верховцев, – бог ему судья, – который теперь уехал с Володею в действующую армию как корреспондент. Ей показалось даже, что Наталочка задела более чем дружескую струну в сердце Сергея Верховцева, которого она ласково принимала, но недолюбливала; больше того, она серьезно побаивалась, не было ли взаимности, так как ее Наталочка очень уж покорила этому «новому» человеку; но тетушка помалчивала, да и думать-то боялась, – страшна казалась ей возможность чего-либо подобного, так как она знала, что молодые люди переписывались.

Проведя лето в гостях у соседа Глиноедской, своего родственника, Сергей часто бывал у нее, подружился с Наташей и скоро, как-то незаметно, сделался руководителем ее развития и самообразования; он составил список книжек для чтения, которые, по его мнению, подходили к требованиям предстоявшей ей деятельности, и книжки эти частью были уже поглощены, частью еще читались и перечитывались. Они вместе занимались с крестьянскими ребятами, вместе и часто гуляли, о многом говорили, – вернее, он говорил, а она слушала, – слишком много говорил, по мнению Надежды Ивановны, видевшей в Верховцеве что-то недворянское, серое, но в то же время осмысленное и крепкое.

Даже Володя заметил «измену» своей Наталки, но, каким-то капризом увлеченный в это время Соней, – тою самую хорошенькою соседкой, которую плохо танцевавший Верховцев уронил раз в вальсе, – он довольно легко и снисходительно отнесся к этой неверности, так что, когда Верховцев еще в июле уехал, заставив от души порадоваться Надежду Ивановну, тотчас же, совершенно незаметно, вошел в прежнюю роль всегдашнего кавалера и вероятного жениха Наталки.

В этом последнем неофициальном звании Владимир и пребывал до самых тех пор, когда, оправившись от тяжелой болезни, вынесенной в доме отца, стал проситься в действующую армию и, как уже сказано, по протекции графа А., получил назначение в ординарцы к его светлости князю ***.

Когда приказ о назначении был получен и день отъезда на войну назначен, Наташино воображение, живо занятое предстоявшими Владимиру опасностями, решило, что *он* и есть тот самый идеал мужа, друга, любовника, который неясно носился в ее голове, – тот самый, которого она действительно любит, любит давно, сама того не замечая, любит сильно и, конечно, неизменно. Он должен быть, он будет, когда воротится с поля битвы, ее мужем, так как она, наверное, никого, кроме него, не полюбит. Мало того, если на войне его ранят или он заболит, она уговорит тетю ехать туда ухаживать за ним. Просто удивительно было, как случилось то, что такое ясное чувство, такая сильная любовь не была признана ими обоими прежде...

Надежда Ивановна только порадовалась такому обороту дела и, по своему обыкновению, увидела в нем подтверждение справедливости ее убеждения в том, что все и всегда делается по воле божией.

С самого назначения дня отъезда Володи в армию чтение и занятия с ребятами потеряли для Наташи прежнюю прелесть; Володя-воин, Володя-герой заполнил все ее воображение, все ее мысли. Он, наверное, будет способствовать более благоприятному ходу дел на театре войны. Она вперед знала, что Володя проявит храбрость и обратит на себя внимание, – за то же и придется ему пройти через опасности! Если его ранят, – это решенное дело, – они с тетей поедут ухаживать за ним.

После отъезда Половцева Наташа потеряла покой и даже самообладание; никогда не быв нервной и капризной, она стала так беспокойна, всеми правдами и неправдами так стала допекать свою тетю, что та, наконец, собралась к месту военных действий, в намерении пристроиться где-нибудь за Дунаем, разумеется, поближе, где нет опасности, – «как можно подальше, где поопаснее», – мечтала Наташа.

* * *

Движение военных поездов с войсками, встреча с санитарными поездами, наполненными больными и ранеными, шум, гам и беспорядок; рассказы об изнанке войны и многие картины этой неприглядной изнанки, сразу представившись молодой девушке, захватили все ее внимание и заставили открыть глаза на многое такое, что она не совсем поняла в «хороших книжках». Ее собственное «я» и даже «я» всех близких ушло куда-то далеко, и на смену их выступило нечто вроде того, что побуждало ее заниматься с деревенскими детьми и помогать крестьянским семьям, только в более сильной и требовательной форме, – чувство той братской любви и сострадания к обездоленным, которое постоянно жило в ней и в известные минуты, под влиянием известных стимулов, требовало выхода и применения на деле.

Стоны раненых надрывали ей сердце; беспорядок, разные недочеты, иногда видимое безучастие лиц, заинтересованных в этом народном бедствии, выводили ее из себя. Для нее было очевидно, что всем людям с доброю волей надобно было действовать словом или делом, стараться принести какую-нибудь пользу, хоть сколько-нибудь облегчить общую беду.

Новые неясные мысли, зародившиеся под влиянием новых впечатлений в ее голове, как будто были не совсем незнакомы ей, – где-то и когда-то читала она о чем-то подобном... Но когда, где, в какой книге?

Не скоро, но все-таки она добилась: оказывается, что не читала, а слышала, – слышала из уст Верховцева, не раз заводившего с нею речь по поводу событий в славянских землях и отражений этих событий, со всеми последствиями, на России. По правде сказать, она имела тогда обо всем этом такое смутное понятие, что не могла воплотить слышанного в дело и поступки,

составить себе ясное представление о ходе событий. Теперь вспомнились мысли и речи приятеля «буки», получили смысл и такую окраску правды, какой прежде она за ними не подозревала, а сам «бука», Сергей Иванович, показался еще умнее и симпатичнее прежнего.

* * *

Приехавши в Систово, «сестры» не мало походили по городу, ища себе приюта, и уже стали серьезно побаиваться того, что им не удастся сколько-нибудь сносно устроиться, когда молодой, довольно образованный болгарин, писарь комендантского управления, принял участие в них и поместил к одному своему старому родственнику, жившему с такою же древнею старушкой женой, в уютном домике, на маленькой, кривой и узкой улице в конце города. Дамы разместились в двух чистеньких комнатках, завели дружеские отношения с хозяевами, сначала не совсем охотно принявшими их, и стали ходить заниматься в один небольшой госпиталь, расположенный в нескольких покинутых турками домах.

Госпиталь помещался немножко далеко от них, и первое время они намеревались подыскать занятий где-нибудь поближе; но их услуги были там приняты с такою предупредительностью, даже радостью, формализма в управлении и при занятиях с больными было так мало, забот или хлопот и всяческих нужд так много, что они решили потом от добра добра не искать, остаться тут и, несмотря ни на какую погоду, каждый день по нескольку раз перебежали по дурно вымощенным улицам города полторы версты расстояния, отделявшие их квартиру от госпиталя.

Обе женщины сразу почувствовали себя в своей сфере, – в сфере любви и помощи ближним.

Девушке недоставало только опытности, хотя ей очень пригодилась тут практика той помощи, которую она оказывала больным в деревне. Она скоро приноровилась и уже через несколько дней прилежного и усидчивого выслеживания приемов ухода за ранеными работала, как заправская сестра милосердия. Зато Надежда Ивановна, исключая некоторых технических подробностей, касавшихся специально промывания и перевязки трудных ран, сразу выказала ловкость и умение, не уступавшие никакой обученной сестрице; она припомнила приемы ухода за больным мужем и пустила их в дело: успех был для нее самый неожиданный.

Старший доктор, давно уже тщетно просивший о присылке ему «сестер», не мог нахвалиться своими «волонтерами», как он называл тетушку с племянницей.

Случалось, что ни сам доктор, ни его помощники не могли держаться около раненого без крепкой сигары во рту, – так силен был запах от нескольких гнойных, сочившихся язв, – а Надежда Ивановна и даже Наташа, как склонятся над таким больным, так и не разогнутся, пока всего не перемоют, не вычистят, не перевяжут. Зато солдатики называли их не только «сестричками», но и «анделами нашими небесными».

– Не правда ли, тетя, как это похоже на то, что мы делали у крестьян? – спрашивала Наташа. – И говорят они, и жалуются, и благодарят все так же. Сначала я думала, что перевязка раненых что-нибудь особенное, очень-очень трудное; помните, Володя говорил, что к этому нужно готовиться несколько месяцев, а выходит, что надобно только не лениться. Ах, тетя милая, они ведь и капризничают, и сердятся так же, как наши ребяташки! Настоящие дети!

– Благодарю бога, душа моя, за эту легкость, это тебе награда за то, что ты ухаживала за больными дома, оттого тебе и легко теперь; побрезгуй ты этим делом раньше – трудно, очень трудно было бы приниматься теперь за него! Володя говорил правду.

Надежде Ивановне невольно приходило в голову, что и ей это награда за то, что она безропотно ухаживала в свое время за больным «покойником», награда за честно исполненный долг.

Тетушка занималась методически, не торопясь, как человек опытный, уверенный в себе, в противоположность своей племяннице, работавшей запоем, – всегда увлекавшаяся Наталка и тут отдалась делу всем своим существом.

Ей казалось, будто все, что она до сих пор делала, чем жила, просто ничто в сравнении с теперешним занятием помощью раненым, в которую она внесла всю нежность, всю женственность девического участия к обиженным, обездоленным; она деликатно мирила ссоры, писала письма к родным и даже не брезговала штопать кое-что из особенно плохого солдатского белья.

Один раз совершенно нечаянно услышала она, как за забором госпитального двора грамотный солдатик писал для своего неграмотного товарища письмо на родину о деньгах, причем, как более опытный, вставлял в речь такие запугивания и застращивания, что Наташе живо представилось положение крестьянской, вероятно, небогатой семьи, на которую свалится это «ужасственное» послание с требованием непременно присылки денег: «Если вы, милые родители, – гласило окончание письма, – останетесь глухи к сей моей слезной сыновней просьбе, то плачевная жизнь моя решится от глада, ран и болезней».

– Ну, братец, – прибавил писавший, прочитавши вслух не без самодовольства свою стряпню, – если и по этому письму не пришлют тебе, то махни ты на них рукой, – значит, ничего с них не возьмешь!

«Ах, негодный! – подумала Наташа, – это Федоров! Ведь какой смирный с вида... Надобно будет остановить это глупое письмо». И она ухитрилась выпытать, заставить показать себе послание, поправила его как бы для большей верности присылки денег, смягчила угрозы и сама сдала письмо на почту.

Другой раз ей пришлось мирить двух бывших друзей, рассорившихся из-за булавок, так-таки из-за булавок! Одному из них Надежда Ивановна заколола перевязку на руке полудюжиной булавок, но потом взяла назад пару для бинта на ноге товарища: батюшки мои, как первый рассердился! «Это ты, – говорит, – выманил, на чужой счет разбогател, взял бы уж все: твоя нога ведь не в пример дороже моей руки».

Сама по себе ссора была бы не важна, если бы приятели не служивали и не были полезны друг другу, а то безрукий помогал безногому бродить на прогулке, а безногий вертел для безрукого папиросы; со времени ссоры обоюдные услуги прекратились, и оба раненые затосковали; только благодаря Наташе они примирились и снова стали стараться помогать один другому.

– Ах, тетя, какие они дети, пресмешные, право, на них и сердиться нельзя! – говорила Наташа вечером за чаем.

– Мы должны благодарить бога, душа моя, за то, что они так наивны, – что было бы, если б они не были детьми? – ответила Надежда Ивановна, едва ли сознавая, что сказала большую истину.

Между ранеными был один болгарин, с четырьмя ранами, из них две навывлет, так что всего на теле было шесть язв. Он все время громко ныл, жаловался и требовал, чтоб его отпустили из лазарета в родную деревню в Балканах, где у него жена, дети и где он, наверное, скорее бы выздоровел, чем тут. Даже Надежде Ивановне он надоел вечным недовольством, воркотней и протяжными, плаксивыми, на весь госпиталь раздававшимися жалобами; только Наталка и имела терпение уговаривать и увещевать его с некоторым успехом.

– Ишь ты, как тоскует по деткам! С шестью печатями, а и то рвется вон; несладко, видно, и ему в разлуке-то, – говорили солдаты-соседи из сердобольных.

Еще один раненый, русский солдатик, получил удар пулей на излете в голову, с раздроблением черепной кости. Пулю вынули, но рана дурно заживала, и больной все время горько плакал, буквально обливался слезами, – откуда только брались они у него в таком количестве. Даже и Наташины утешения не действовали: он как-то машинально исполнял все, что от него требовали, но не трогался из своего угла и плакал, плакал без конца.

Профессор Ликасовский, работавший в большом систовском госпитале и приглашенный на консультацию к этому интересному раненому, высказал догадку: не нажал ли кусок разбитой черепной кости на мозг? И точно: лишь только удалили осколок кости, больной перестал плакать, повеселел и начал выздоравливать.

У Наташи скоро оказалась маленькая привязанность: немудреный пехотный солдатик Никифоров, или, как сам он выговаривал свое имя, «Никифороу», их корпуса князя Шаховского, тяжело раненный при отступлении после второго штурма Плевны.

Наташа особенно заинтересовалась им потому, что он произнес имя Верховцева.

Раненому запрещено было говорить, но он никак не мог утерпеть, чтобы не пускаться в рассказ всякий раз, как находил, что ему «полегчало». В одну из таких минут он не без юмора представлял, как картавый генерал Скобелев, прикрывая отступление отбитого корпуса с горстью солдат, бывших в его распоряжении, давал приказание своему ординарцу: «Верховцев, Верховцев, отзовите назад этих дугаков – их всех сейчас пеге-бьют!»...

– Ты видел Верховцева? – перебила его девушка.

– Точно так, – ответил солдатик, – мы, значит, подбирали ротного, его вдарило в ногу, а генерал, значит, посылали этого самого адъютанта своего, чтобы собрать людей. Тут и двадцати шагов не прошли – и меня вдарило. Подобрали меня уж поздно, этот самый адъютант генеральский и подобрал с казаками...

– А как одет этот адъютант генерала, есть ли у него борода?

– Ходят они, как казаки же, в балахоне, и борода у них тоже казацкая – нас, раненых, они до ночи подбирали...

Наташа запретила больному говорить больше, но после, когда ему «полегчало», не утерпела, чтобы не направить его еще раз на тот же рассказ, и образ «буки» встал перед нею как живой: сначала роняющий Сою в вальсе, потом толкующий смысл «хороших книжек» и, наконец, на поле битвы подбирающий раненых под турецкими пулями и гранатами.

Девушка удвоила свои попечения о раненом, и тот начал поправляться, что, по словам доктора, был из редких редкий случай.

– Не знаю, может быть, разве уж вашими молитвами, – отвечал он прежде на ее вопросы о том, есть ли надежда на выздоровление Никифорова. – Разве уж если он захочет доставить вам особенное удовольствие, – шутил тогда доктор, а теперь, после одной из перевязок, объявил, что раненый и вправду, должно быть, вздумал отблагодарить и порадовать Наташу, что он выздоровеет и очень скоро.

Радость Наташи была безмерна, но не долга и сменилась большим горем: Никифоров помещался не в доме, а в одной из турецких палаток, раскинутых на дворе, в которых воздух был лучше, чем в четырех стенах, и выздоравливающие скорее становились на ноги; но ночью разразилась буря с ливнем, сбила палатку и нескольких больных тяжело повредила; в числе их был Никифоров.

Когда рано утром, в заботах о том, не подмочило ли сильным дождем больных, спавших на соломенных матрацах на земле, Наташа торопливее обыкновенного вошла во двор госпиталя и заглянула в палатку, снова водворенную на прежнем месте, она не сразу и поняла то, что ей стали рассказывать; ясно было только, что зеленовато-землистого цвета лицо и потухшие глаза ее приятеля не сулили более ни малейшей надежды. Его вскоре вынесли, а «сестрица» только с помощью Надежды Ивановны добралась в этот вечер до своей квартиры.

Долго горевать, однако, было некогда, и у Наталочки скоро завелась новая слабость, чуть ли еще не сильнейшая прежней: донской казак с пробитою грудью, в последней степени чахотки.

Щадя надломленную недавним случаем девушку, доктор скрывал от нее, что дело больного совсем плохо и что в последние дни болезнь приняла скоротечную форму, так что самые часы донца были сочтены.

– Да зачем вы связываете вашу судьбу с жизнью ваших больных? – выговаривал Наташе доктор. – Ведь у вас не хватит ни сил, ни здоровья так «выхаживать» их. Работайте потионьку – право, лучше будет, я вам добра желаю, – и доктор серьезно предостерегал Надежду Ивановну от увлечений ее племянницы, которую, к слову сказать, сам готов был увлечься.

– Месяца не даю ей такой работы запоем, – говорил Федор Иванович тетушке, – она у нас непременно свалится; я ведь уж посмотрелся на таких рысаков: бежит, не уменьшая шага, не передохнувши, пока не треснется сразу.

– Хорошо, хорошо, спасибо вам, доктор, послежу за нею, – отвечала Надежда Ивановна и возможно чаще, под разными предлогами, стала сменять Наташу у изголовья казака, неотступно умолявшего о том, чтоб его отправили на родину, на Дон: «Там я поправлюсь, там непременно поправлюсь!»

Он не доверял ни доктору, ни даже Наташе, успокаивавшим его тем, что его «скоро отправят», и постепенно нарушал госпитальную дисциплину тем, что, стараясь, вероятно, по мере сил укоротить расстояние, отделявшее его от родной хаты на Дону, собирал последние силенки и съезжал с своего соломенного матраца в углу комнаты до середины ее, а когда не успевали доглядеть, то и к самым дверям, а потом жалостно пищал оттаскивавшим его назад служащим: «Пустите меня домой, я там поправлюсь!» Скоро его действительно отправили, только не на Дон, а в общую могилу.

По всей вероятности, сбылись бы слова доктора и Наташа слегла бы под сильным впечатлением этих неудач, если бы нервы ее не укрепились сразу перебившею все другие интересы дня новостью: «Штурм Плевны!»

Как ни ждали этого, как ни обсуждали заранее всего за и против, тем не менее чисто лихорадочная деятельность охватила все отрасли служебных должностей Плевненского района.

– Вот видишь, душа моя, почему Володя не приехал, хотя и обещал; он, верно, был занят, а ты уж его обвиняла в том, что он нас забыл, знать не хочет: почему да почему не едет – ты просто несправедлива к нему.

– Вы думаете, тетя, что он будет участвовать в битве?

– Станем надеяться, что молитвы Анны Павловны будут услышаны и опасность минует его.

– Федор Иванович говорил, что штабным легко живется, что они всегда выйдут сухи из воды.

– Федор Иванович хорошо бы сделал, если бы больше заботился о своем деле, вместо того чтобы пересмеивать других, – не без досады ответила тетушка. – У него нет ни хинина, ни хлороформа, и если на днях он их не добудет, то я не знаю, что мы будем делать с новыми ранеными, как их будут оперировать?

– Говорят, у Скобелева уже много раненых; у него, говорят, очень опасно, – продолжала Наташа, следуя за своею мыслью, и недоговорила: она боялась, не убили бы Верховцева, о храбрости которого много слышала. Тетушка поняла, однако, ее боязнь и сначала, ничего не отвечая, подумала только про себя очень не по-христиански: большой потери не было бы, – потом, впрочем, спохватилась и поспешила выговорить: «Все мы, душа моя, во власти божией, и волос не спадет с головы нашей без воли его!»

III

В то время как его вспоминали в Систове, Владимир Половцев возвращался из возложенной на него командировки к Никополю. Туда и обратно он проехал очень скоро, прямым путем, и теперь уже ясно слышал пушечные выстрелы плевненских батарей. За ним ехал донской казак, то отстававший, то трусую догонявший ходкого коня «барина».

Дорога была пустынная, местность невеселая. Только еврей-маркитант, попавшийся на дороге, вставил коротенькую нотку развлечения в скуку и монотонность переезда: он выскочил из-под повозки, стоявшей близ дороги, бросился к лошади офицера и, в припадке сильнейшего отчаяния, стал бить себя по щекам и дергать за пейсы, приговаривая: «ой вей! ой вей!»

Владимир насилу мог добиться от него, в чем дело: оказалось, что ночью у беспечно спавшего под повозкою еврея увели привязанную к ней четверку лошадей, и он остался с фурую, тяжело нагруженною всякими припасами, без возможности добраться до места расположения войск, где, конечно, рассчитывал сделать выгодный «гешефт» – распродать свои питья и закуски по удешевленным ценам.

Половцев понял, что украли лошадей солдаты, но помочь делу, конечно, был не в состоянии.

– Теперь уж эти кони за 50 верст, – вставил казак его, может быть, из бывалых по этой части.

Втолковать, однако, еврею невозможность что-нибудь сделать для него было трудно; он не унимался и перемежал свои рыдания возгласами вдогонку проезжему: «Ваше превосходительство, помогите! Заступитесь, ваше превосходительство!»

Выстрелы становились яснее; под их звуки юноша замечтался. Ему вспомнились дом, мать, теперь как и всегда думающая, конечно, о нем. Вспомнились интимные отношения к хорошенькой крестьянской девушке, тоже со слезами прощавшейся с ним. Вспомнилась Наташа, преданная, влюбленная; ее глаза, за время последнего разговора на балконе подернутые какою-то влагой, глядевшие на него мягко, нежно, сулившие дружбу и любовь, теперь как будто снова смотрели на него близко, близко... Ах, как захотелось ему посмотреть на них вправду поближе! «При первой же возможности съезжу в Систово, – решил он, – должно быть, они ждут не дождутся меня!»

Владимир мало изменился с отъезда из деревни, только сильно загорел и оттого казался немного возмужавшим, – все тот же стройный, недурной собою и неглупый малый, немного брезгливый, немного белоручка, но далеко не принадлежавший к патентованным хлыщам щеголям.

Отец и мать его были хорошие люди, типичные представители зажиточных помещиков. Прослуживши три трехлетия сряду предводителем дворянства, Василий Егорович совсем зарылся в хозяйство, которое вел, как большинство, без научной подготовки, по навыку: двадцать тысяч в год получал, их и издерживал на работы и прожитие семьи. Когда случалась экстренная надобность в деньгах для поездки в Петербург или для сына, иногда пробывавшего маленькие бреши в семейном бюджете, прибегал к рубке леса, причем барышники, большею частью совершенно беззастенчивый, бессовестный народ, не упускали случая стакиваться со старостою и вырубать вдвое более против назначенного, в полной уверенности, что проверять господу не будут: старый барин не пойдет, а молодой не сумеет.

Мать сама занималась с детьми в младшем возрасте: учила французскому языку, которым владела в совершенстве, также задавала и спрашивала уроки «от сих и до сих», по учебникам географии и истории. Потом дети переходили к гувернеру из немцев, приготавливавшему в младшие классы корпуса или гимназии.

Старики редко навещали Петербург, предпочитая почаще брать в деревню своего Володю, не слишком, впрочем, скучавшего и в городе благодаря помянутому графу А., товарищу Василия Егоровича по пажемскому корпусу¹². Этот сановник, занимавший видную должность при дворе, брал к себе молодого человека из корпуса на праздники и, насколько позволяли хлопотливые и многотрудные занятия по службе, следил за его учением и воспитанием.

¹² ...пажемский корпус... – закрытое военное учебное заведение для детей дворянской аристократии, основанное в 1795 г.

Знакомство с таким важным человеком поставило Половцева в корпусе в число привилегированных, «аристократов». Когда граф А. приезжал иногда навестить его, поднимался настоящий переполох: являлся директор, расшаркивались не только все, кому должно было, но и многие, для которых это не было прямою обязанностью, – всем служащим лестно было поклониться важному человеку.

По выходе в офицеры то же знакомство невольно заставило юношу держаться круга титулованных товарищей, сообщавших его манерам, тону речи и даже самым мыслям некоторую дозу фатовства, очень не нравившегося Наташе.

Владимир чутьем понимал это и заметно проще держался с нею, чем с другими претендентками на его руку и сердце, но совсем освободиться от раз усвоенных манер не мог, да, пожалуй, и не хотел. Может быть, это было и не легко, так как кружок друзей тесно держал его в зависимости и каждый раз, что молодой человек попадал в эту «школу злословия», он быстро забывал уроки простоты и искренности, усвоенные около Наталочки.

«Воображаю, что сказал бы животное Р*, – размышлял теперь на седле Владимир, – если бы увидел ее; как он, выпрямивши грудь, тотчас заходил бы петухом; как этот мученик монокля стал бы искоса поглядывать на нее через свое стеклышко и, пожалуй, прищелкивать языком, будто перед блюдом с трюфелями, – это не то, что его „Фризетка“...»

И он мысленно сравнил Наташу с другими девушками и женщинами; даже сравнивать нельзя было: то – наряженные, подрисованные куколки, а это – настоящая русская красавица, здоровая, смелая, разумная.

Вот только манеры ее часто вульгарные, выражения, выходки! Недавно подарила она ему карточку свою, с надписью: посылаю мою *рожу*... И есть что-то намеренное в этом. Впрочем, оно пройдет, обойдется... А если нет, если угловатости и резкости останутся? – девка-то с характером...

Ему показалось, что он теперь близко, близко от этой девки с характером, что она наклонилась к его лицу и шепчет те слова, что сказала на балконе перед отъездом... Неудержимо захотелось ему обнять, поцеловать Наталочку, губы инстинктивно вытянулись, кровь прилила к голове...

– Бум! бум! – раздались близкие выстрелы.

Владимир нервно повернулся на седле, досадуя на потерю сладких грез. Скоро, однако, мысли его, следуя за нежными образами, вызванными расходившимся воображением, перешли на Соню: и это хорошая девочка, только сравнительно с Наталкою она всегда казалась ему какою-то «разменной монетой», «на всякий случай». Даже вышло как-то странно, что он удостоил обратить внимание на эту девицу и заметил ее хорошенькое личико только с того злополучного вечера, когда Верховцев, танцуя, уронил ее самым неловким образом и она так переконфузилась, бедная.

«Чудак! – думал далее Владимир, – не умеет танцевать, а суется». Впрочем, ведь это неверно: сам же он уговорил приятеля, который не желал танцевать, представивши, что кавалеров мало, а девиц много; следовательно, тот не только не совался, а прямо пожертвовал собою.

«А все-таки он чудак! Вот хоть теперь: ну, чего ради вздумал воевать? Поехал наблюдать, писать, а вместо того пристрастился к Скобелеву, да и заразился от него, право, заразился! И откуда прыть взялась! Не знаю, написал ли он десяток корреспонденций в свою газету».

Поздеев, который знал об их дружбе, воротясь с левого фланга, рассказывал, что Верховцев просто дивит своею храбростью: или он не сознает опасности, что трудно предположить, или он ищет смерти, для чего нет резона, – заразился да и только!

Скобелев, кажется, решительно заездил его, дает самые опасные поручения: разузнавать о положении и силе неприятеля, набрасывать кроки местности¹³ под выстрелами, проводить

¹³ ...кроки местности... – чертеж участка местности, отражающий важнейшие ее элементы, выполненный при глазомер-

полки по буеракам, которые тот изучил по всей окрестности, и Сергей будто бы очень доволен этими поручениями, исполняет их не сморгнувши, что с ним сделалось? Заразился, положительно заразился – не подыщешь другого слова.

Князь Черкасский, вернувшись оттуда, рассказывал в главной квартире, что Михаил Дмитриевич при нем послал Верховцева осмотреть местность, влево от редута, и когда после, во время их разговора, раздался грохот выстрелов, с улыбкой ответил на его, князя, вопрос, не нападение ли это: «Ничего, не обращайтесь внимания – это Верховцев забрался, по обыкновению, за турецкую цепь».

Мысль Володи невольно перешла к опасности, которой ежедневно подвергался его приятель. Это не то, что у нас, – откровенно признался он сам себе, – где можно прослыть храбрым, не будучи только трусом; а награды-то – вопиющая несоразмерность: за прошлую поездку с его светлостью для обозрения турецких батарей все, кто ездили, и он, Владимир, в числе их, получили золотое оружие, а ведь это большая награда, за которую армейский офицер согласится принять несколько ран.

«Один день ординарца Скобелева по опасности стоит месяца страхов нашего брата, привилегированного». – решил Володя, всегда честно и справедливо рассуждавший сам с собою, но, по маленькой слабости характера, не всегда проводивший и поддерживавший эту справедливость в жизни. Мысли его, воздавши должное приятелю, опять перешли к сладким грезам и стали ловить образ чего-то только что упущенного, нежного, близкого... «Ах, да, Наташа!» – и сопоставление этого имени с только что помянутым именем Верховцева неприятно поразило его; он даже невольно остановил лошадь, так что дремавший сзади казак едва не наехал на своего барина.

Неугомонная мысль стала теперь искать объяснения какого-то неясного тоскливого чувства, его охватившего... Да, вот в чем дело: Наташа и прежде, – он хорошо это заметил, особенно перед отъездом, – равнодушно относилась к Верховцеву, а теперь, узнавши о его сумасшедшей храбрости, чего доброго, просто влюбится в него как в «героя»; она такая, ее на это станет, – и что-то захолонуло у него на сердце, – это очень возможно... Ну, что же, пусть!

А он?.. Кто его знает, какой он в этого рода делах, он скрытный... «Впрочем, что этим так интересоваться? Он мне не брат, не сват, да и она не одна на свете – большой беды не будет, скатертью дорога!»

Владимир старался перенести свои мысли на Соню или на ту барышню, за которую ухаживал в Петербурге, но не мог: первая была разменная монета, а вторая уж слишком казовая невеста, видимо, настойчиво желавшая выйти замуж, если можно, за него, а коли нельзя, так и за другого кого-нибудь, только поскорее; она даже намекала ему на свое действительно большое приданое.

Орудийный выстрел, совсем близкий, заставил его вздрогнуть и оглядеться: он проехал деревню Сгаловицы и незаметно поднялся на высоту, с которой стали открываться плевненские позиции и дымки выстрелов.

Распросив встретившегося казака из главной квартиры о том, где находится его светлость, и узнав, что князь уехал сегодня на левый фланг, Владимир взял в ту же сторону в намерении поскорее встретить отца-командира, всегда требовавшего от ординарцев скорой езды и немедленного донесения о результате поручения.

Завидевши группу в лощине, он принял было ее за тех, кого искал, но скоро увидел ошибку и распознал офицеров штаба генерала Глотова.

– Утром он проехал здесь, – объяснили ему, – на левый фланг; теперь он должен возвращаться, тут скоро где-нибудь и встретите его.

Владимир приложил руку к козырьку и проехал далее. Немного правее, пониже, открылась батарея; он поехал к ней рысью, чтобы не представлять из себя мишени для турецких выстрелов, но не обошлось, однако, без того, чтобы две-три гранаты из заметившего его редута не перелетели через голову.

– Не проезжал ли здесь его светлость и если проехал, в какую сторону, чтобы мне не разъехаться с ним?

– У нас начальство редко бывает, – ответил артиллерийский офицер, – турки слишком любезно принимают всех приезжих... Видите, как они и вас приветствуют! – В самом деле, гранаты одна за другою стали ударять по брустверу батареи. – Слышали, что проехал на левый фланг, только отсюда не видели его.

Поблагодарив, Половцев воротился на дорогу и тут уже не вытерпел, пустил лошадь вскачь, с редута стали угощать его шрапнелью так старательно, что он невольно упрекнул себя за любопытство, заставившее без нужды рисковать жизнью. «Что сказала бы мама?» – мелькнуло у него в голове.

Спустись еще раз в лощину, Володя опять поднялся и увидел множество всадников, далеко державшихся один от другого и ехавших прямо к нему навстречу; он узнал своего начальника со свитою.

– Половцев, в сторону! – крикнул ему издали милейший Г., – вы привлекаете выстрелы! И в самом деле, вблизи шлепнула граната, за нею другая.

Князь был в добром расположении духа и, когда возвышенность скрыла из глаз турецкий редут, подозвал Владимира, расспросил о том, что он узнал и сделал в командировке, потом поблагодарил за быстрое, толковое исполнение поручения.

В тот же день вечером Владимир имел случай видеть офицера, приехавшего с левого фланга, много рассказывавшего о делах у Скобелева за эти дни и, между прочим, сообщившего, что ординарец-волонтер генерала Верховцев завел дальше, чем было приказано, Ветлужский полк, сильно через это пострадавший.

«Да неужели же это правда, – думал Володя, – и зачем он только взялся не за свое дело?»

Так как офицер возвращался в ту же ночь к своему генералу, то Половцев попросил его передать Верховцеву поклон и просьбу не очень рисковать, отдохнуть. «Надеюсь, вы будете завтра в Плевне», – полушутя, полусерьезно заметил он ему на прощанье.

– Будто в самом деле завтра состоится общая атака?

– Конечно, – ответил Володя, удивленный таким наивным вопросом, – а что?

– Войска нет, с чем мы будем атаковать?.. Непременно отобьют!

– Ну, теперь поздно об этом толковать, – отозвался Половцев возможно хладнокровно, хотя сердце его сжалось. «Не предчувствие ли это?» – по обыкновению подумал он.

На другой день все, от рассыльных казаков до старшего начальства, поднялись очень рано.

Давно уже моросил мелкий дождик, до того размывший почву, что и по ровному месту трудно было ходить, – на целые вершки приставала глина к подошвам, – взбираться же на высоты было еще труднее.

«Как наши пойдут сегодня?» – думал Володя, глядя на обложенное кругом небо, однако воздержался от сообщения своей мысли, так как понимал, что, ввиду сделанных приготовлений, рассуждать больше не будут, а станут действовать.

«Почему бы, однако, не отменить штурма? – опять мелькнуло у него в голове; но суета кругом, сборы и все распоряжения дали понять, что такой мысли суждено остаться праздною. – Наверное, не отменят». Мелькнуло затем и другое предположение: «А что, как сегодня возьмем Плевну?.. Авось!»

Половцев поздно вышел к чаю, за общим стол, где шли те же разговоры, что и обыкновенно. Остроумный Горяинов рассказывал о новом подвиге своего казака Паршина на труд-

ном поприще добывания ячменя для лошади, – подвиге воровском и хитром в то же время; он рассказывал так забавно, что все, не исключая начальства, смеялись. Впрочем, было уже как-то заведено, что если Горяинов рассказывал что-нибудь, то всем непременно было смешно; его большой рот еще только открывался для рассказа, как уже лица всех присутствовавших расцветали, в долг.

На другом конце стола шел бойкий спор о собаках.

Горяинов потом перешел к рассказу о том, как общий всем знакомый, начальник наградного отделения Белищев, приходил в отчаяние от ухаживанья за ним чуть ли не всей армии: «Волочатся за мной, – будто бы жаловался он, – точно за хорошенькою женщиной!» У него заболели ноги, старый ревматизм, и вот всякий приходящий справиться о награде считал нужным скорчить постную физиономию и выразить ему соболезнование: «Как ваше здоровье, Петр Дмитриевич? Что ваша нога? Что с вашей ногою, Петр Дмитриевич? Лучше ли ноге вашей?» – «Я уж, – будто бы говорил он, – прерываю всегда эти нежности вопросом в упор: говорите прямо, о чем вы хотите справиться, о чине или о кресте, не будем терять время!»

Все за столом смеялись, не отставали, конечно, и те, у которых рыльце было в пушку, т. е. которые частенько заглядывали в наградное отделение справляться о ходе своего представления к наградам.

Начальство скоро уехало на позицию с несколькими офицерами; за ними, наскоро допивая и доедая, заторопились и остальные.

Володя поднимался на гору вместе с уланом Дементьевым, тучным и добрым малым, регулярно каждый день смешившим весь стол своими попытками глотать водку тайком от начальника. Дело в том, что ему строго запрещено было докторами все спиртное и хозяин сам смотрел и всем велел наблюдать, чтобы Дементьев не опрокидывал традиционных «рюмочек очищенного» ни перед завтраком или обедом, ни в продолжение их. Опекаемый с этим, однако, не мирился и всегда улучал минуту, чтоб обмануть бдительность начальства; что же касается других охранителей, то все они, смеясь, потворствовали, заслоняли, под столом передавали рюмки. Только Володя, новичком принявши дело к сердцу, вздумал было громко заявить о только что проглоченной рюмке горькой, но ему так внушительно показан был кулак, что он более не покушался шпионить упрямого улана и скоро сделался с ним большим приятелем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.